

[Литературные силуэты: Л. Сейфуллина. - «Красная новь», 1924, № 5, стр. 291-300.]

Ш. Л. Сейфуллина.

В статье "Об искусстве" Л. Н. Толстой вспомнил про один поучительный свой разговор с Гончаровым:

"Помню, как писатель Гончаров, умный, образованный, но совершенной городской человек, эстетик, говорил мне, что из народной жизни после "Записок охотника" Тургенева писать уже нечего. Все исчерпано. Жизнь рабочего народа казалась ему так проста, что после народных рассказов Тургенева описывать там было уже нечего. Жизнь же богатых людей, с ее влюблениями и недовольством собой, ему казалась полною бесконечного содержания".

Мнение Гончарова нельзя объяснить тем, что он был городским человеком, но оно, действительно, чрезвычайно поучительно. Взгляды, аналогичные взглядам Гончарова, являлись преобладающими в нашей отечественной литературе прошлого. Жизнь состоятельных, образованных классов "с влюблениями и недовольством собой" служили основной темой для поэтов и прозаиков и, наоборот, жизнь "рабочего народа" занимала подчиненное место. Вторжение в нашу литературу разночинной интеллигенции, революционного народничества, марксизма заметно усилила народную струю в художестве, но не могло установить нормального равновесия. Помимо этого, в народной литературе, или, вернее, в литературе о народе — народ, т.-е. почти исключительно крестьянство, рассматривался либо с "сострадательной" точки зрения (Некрасов), либо его идеалистически подкрашивали (народники), либо, наконец, изображали главным образом со стороны "идиотизма" деревенской жизни (Чехов, Бунин). Изображение народной, крестьянской жизни во всей

#_292

сложности, со всеми ее радостями и печалью мы находим только у Л. Н. Толстого, Г. И. Успенского и отчасти у Короленко.

Еще позже, когда широкие интеллигентские круги повернулись спиной к революции, в годы реакции господствовавшая тенденция в литературе была такова, что рабочих и крестьян стали квалифицировать как хамов, нечистоплотных животных и даже как апокалипсического зверя. Торжествовали творцы поэз, упадочники, сладострастные слюнтяи, заgrabные заумники, мистики, пессимисты и пр. Иное отношение к народу, отражавшее крепнущую революцию, тогда литературной погоды не делало.

Естественно, что новая послеоктябрьская литература своим главным объектом сделала народные массы. И в первую голову крестьянство. Рабочий, главный герой революции, пока еще ждет своих писателей, но о крестьянстве у нас уже есть талантливые произведения. На литературе этой

есть еще немало старых наслоений, груза, пережитков, подражательности худшим образцам, всякого трюкизма, голого эстетизма, но основная тенденция у нас народная и отчасти интеллигентски-народническая.

Животворное веяние Октября сказалось, однако, не только в том, что жизнь трудового человека стала в объективе художественного творчества молодых советских писателей, но и в самом подходе к этому трудовому человеку, в изображении его. Одним из самых примечательных явлений в этом смысле служит творчество Сейфуллиной.

Сейфуллина исключительно послеоктябрьская писательница и по началу своей литературной деятельности, и по содержанию, и по характеру, и по направлению этой деятельности. Пишет она о крестьянстве, интеллигенции и детях в революцию. Пока ею захватывается первый период Октябрьской революции, годы 18-й, 19-й, отчасти 17-й в Сибири и в Оренбургских степях. В этом она сродни сибиряку Всеволоду Иванову. Но у Всеволода Иванова Сибирь экзотична. О ней и людях ее читаешь как об Австралии. В Сибири Всев. Иванова преобладает восток, Азия, сопки, пески, степи, ковыль; его Сибирь глядит узкими, раскосыми глазами, у нее желтое лицо, крепкие выдающиеся скулы. Она разноцветная и пестрая, дикая и первобытная, приключенческая, романтическая. У Сейфуллиной Сибирь более нам близкая; ее зимы и вьюги напоминают наши, ее мужики схожи с рязанскими и тамбовскими, ее деревня, обычная, аржаная, сермяжная, овинная, деревянная Русь. Областной сибирский колорит придают вещам Сейфуллиной кержаки, язык сибирской деревни, эпизодически появляющиеся киргизы, начало колчаковщины, чистые и прозрачные, как море, озера. Но это не выдвигается на первый план. В центре стоит деревня и город во дни первых решительных октябрьских побед и начинающейся гражданской войны. У Всев. Иванова, далее, сибирский крестьянин изображен в период красного партизанства, в боях, в восстаниях, в гибели; он уже практически, на своем горбу и хребте испытал, что такое колчаковщина, получил несколько незабываемых уроков. Колчак преподавал эти уроки не только середняку и темному бедняку, но и состоятельному, хозяйственному крестьянину. Поэтому в отрядах Всев. Иванова верховодят, начальствуют Вершинины, Селезневые, кряжистые, солидные, рачительные

#_293

хозяева, сорванные с насиженных мест. У Сейфуллиной деревня изображается на месте, изнутри, в жестоких столкновениях бедноты и зажиточных, в ломке старого уклада, в первое весеннее половодье. Лед только сломан, и река забурилась и понеслась. Ее деревня еще не знает режима "верховного правителя". Она накануне его. То, что у Сейфуллиной является эпилогом, у Всев. Иванова служит завязкой повести, рассказа, романа. У ней упрямые, домовитые кержаки не только не идут в партизанские отряды вместе с беднотой, но являются пока опорой для будущей и наступающей колчаковщины. Они прижаты беднотой, советской

властью. В деревне хозяйничают Софрон, Редькин, Антон Пегих, Павел Суслов, солдаты, вернувшиеся с фронта, солдатки. Они плоть от плоти, кость от кости деревни, земли, поля, - здесь росли, здесь и помрут, но это - не старая, подслеповатая, поповская, забитая деревня, ломавшая шапку пред урядником и не прижимисто-кулацкая, а новая, мятежная, хмельная первым хмелем революции, поднявшаяся и впервые почувствовавшая свою силу. В новой обстановке ей приходится действовать наощупь, в потемках, наугад, больше инстинктом, чем разумом. Софроны предоставлены самим себе. Они культурно и политически одиноки, хотя их и много, хотя за своей спиной они чувствуют свою власть. Они одиноки в проведении начал новой жизни на практике у себя в деревне, должны "доходить" до многого и важного своим умом. Город далеко, местная интеллигенция совершенно чужда и враждебна бедняцкой революции. Есть почти звериная злоба исконного податника, есть вековечное недоверие ко всему барскому, к тому, что росло на мужичьих хлебах, есть сознание, что старому пришел конец, что пришло время "заовражных", "нечо валандаться, прикрутить богатеев", что нужно культурно подняться, а дальше, как, к чему, каким образом - тут все темно, нет руководителей, пути ясно не видать. Оттого Софрон записал почти все село в партию большевиков: "Эй, беднота, заовражники, двигайся. Которые не запишутся, нет им земли". Записывал: мужиков отдельно, "бабу для счета, отдельно. Теперь для их права вышли". Устроил библиотеку, но приказал сжечь Пушкина, принял громоотвод над домом доктора за аппарат для сигнализации казакам и убил его. И в то же время уже потянуло к городскому прянику. История увлечения Софрона учительницей передана психологически верно и тонко. Так бывало и бывает. Полюбил за чистоту, за кисейность, за то, что она воплотила в себе в глазах Софрона новую непохожую жизнь, за то, что была не похожа на деревенских женщин. Если бы весь этот художественный материал обработал скулящий и хихикающий обыватель, или белый, полубелый зарубежный мерещковствующий писатель, сколько было бы излито благородного и благороднейшего, культурного и культурнейшего негодования по адресу тех, кто дал волю "самым разнузданным инстинктам темной массы"! Сейфуллина не оправдывает, "не принимает", не скрывает, не подкрашивает; ей это не нужно, ибо для нее Софроны свои, родные; она видит, как жизнь свою они кладут беззаветно и неоглядно за торжество угнетенного труда, как впервые не умом, а всем нутром своим они стали выпрямляться, почувствовав, что теперь "наша власть".

#_294

"Артамон Пегих допрашивал:

- Эгта самый Ленин и есть?

Софрон гордо, как своего знакомого, представил:

- Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

Артамон голову на бок, губами пожевал:

- Ничо, башка уемиста, мозговита. И глазами хитер. Волосьев только на голове мало.

Софрон заступился:

- Ты столь подумай, сколь он, и у тебя волос вылезет".

Софрон убил доктора, заставлял богатого начетчика кержака Кочерова ходить под окнами и собирать людей на собрание, отобрал у него дом, машины, хлеб. Но Кочеровы и Жигановы, когда позже при казаках настал их момент, ставили "отметины" шилом на спине у Софронов - двести отметин за двести пудов хлеба. Софроны искали новой жизни и ради нее они пришли к лозунгу: "бей их всех, сволочей". Жигановы радели о пудах. Софрон усвоил лозунг "бей их" не сразу. Он пережил тяжелое разочарование, обиду, нанесенную ему учительницей Антониной: "Увидел Софрон: тянулся в плен к чистеньким господам, а в них правды нет. Защиты от них не будет. Издали только приманчивы". Мечтал о чистом, о весеннем, о праздничном, а увидел только наружную "приманчивость", трусость, глубокую, припрятанную барскую брезгливость, продажность. И все они тяготеют к богатым. Доктор, убитый зря по нелепому подозрению, тянул всетаки к богатым-крестьянам: принимал от них приношения, был к ним особенно внимательным.

Писательница хорошо понимает незрелость, условную революционность, ограниченность деревенской заовражной стихии. Когда в ближайшем уездном городке "деревенские всех отшвырнули и били истово, сильно, деловито" купцов на улице за муку, они сгоряча "за компанию" чуть не расправились с членом военно-полевого штаба. Высокий, спокойный человек, осилив стихию и уговорив "заовражных" разойтись, думал:

"Могли сгрести! Устали уж, насытились. Деревенское зверье работало здорово. Д-да, стихия. С этими еще придется и нам хлебнуть... да..."

Деревня Софронов, Пегих, Редькиных, бедняцкая протерла только глаза. Она охвачена бумом и хмелем революции, первым порывом. Наполовину она еще в прошлом, ибо неграмотна, темна, суеверна, с узким кругозором и руководствуется часто инстинктом только. Тем более она не знает, куда ведут новые пути, каков он и каковы препятствия. В этом смысле Софроны — перегной, удобрение для новой свежей поросли. "Господи батюшко, прими дух большевика Артамона", молится на восток Пегих перед тем, как его полуживого закопали в землю казаки и кержаки. В этих простых, трогательных эпических словах не одно смертное, последнее целование земли, они звучат как эпитафия над деревней, поднявшейся и унавожившей родимую землю для грядущих поколений. Недаром Иван Лутохин сказал после порки, застегивая порты:

- Земля нынче хорошо родит. Большевиками унавозили.

#_295

Софрон не умеет подойти к приехавшему из города инструктору, не может выжать из него то, что ему нужно и над чем он бьется в одиночку, во

тьме, а вот его сынишка 12-летний "Ванька" неожиданно для Софрона того же инструктора засыпал самыми разнообразными вопросами, а после поездки в город и коммунальной уборки сена с помощью реквизированных машин, тот же Ванька вдруг сказал отцу:

- Помнишь, городской-то приезжал зимой. А правду ведь он сказал: Отменить деревню надо. Чтобы как город была, с машинами. Покос от машины какой всему селу собрали.

После смерти Софрона Ванька уехал в город. Это уже глянула подлинно новая деревня, не перегнутой, не навоз, а будущее, и теперь уже настоящие сознательные, активные строители республики советов, кто наполнил рабфаки, школы, Красную армию и пошел нога в ногу, плечо о плечо с мускулистым хозяином.

Сейфуллина — бытописательница не деревни вообще, суммарной, не сибирского или оренбургского мужика, а деревенской бедноты, впервые реально ощутившей свою силу. В этом ее первая особенность как художника. Она сумела сделать Софронов и Артамонов не только жизненными, правдивыми, убедительными, она приблизила их к читателю с редким умением и силой: они свои, родные, близкие. Это оттого, что она повествует о Софронах не как опытная, знающая деревню наблюдательница со стороны, извне, а как человек, в жилах которого течет кровь тех же Артамонов; она восприняла их уклад, их горе и радости в себя, всосала с молоком матери. Это кровное. Тут все понятно с первого слова, с намека, каждая вещь видна до дна, каждый человек, как из семьи своей. Действительно, Сейфуллина будто вышла из семьи Софрона. Мне представляется, когда настанет время, а оно настанет, и скоро, и наша деревня начнет выделять писательниц и художниц подлинно из хат и без предварительного долгого отрыва и выучки в городах, они, эти художницы, будут писать так же, как Сейфуллина, ибо она сумела посмотреть на деревню глазами деревенской простонародной женщины, как сестра, как дочь Софронов. У нее даже язык, манера, стиль их:

"И опять по слову по Магариному вышло. Вторая пашня подходит, а здоровые мужики царевым делом маются. В своих хозяйствах — бабы, старики, из молодых — только телом неправильные, да чужаки нанятые. Которые из богатых откупились-было, но позабирали и их. Хоть не на самую войну, а все от дому".

Или: "все чаще наезжали из города учителя, агрономы и даже ученые барыни высказывать про Учредительное Собрание и про всякие партии. Книжечки, листики раздавали" ("Виринея").

У нее свои, деревенские, любимые слова, свой говор: "нашинский, подсобный, думка, покор прописал, моленый, хоженный, уютный, изуроглый, сустрела, окстить, покорливый" и т. д. Это - не подделка, а естественное, простое, народное, далекое от дурного подражания: авось, надясь вперемешку

с книжными фразами и постоянной утрировкой. Книжны у Сейфуллиной порой страницы, где разговаривают интеллигенты. Тут иногда веет книгой. В повестях же о деревне писательница нашла отменно простой и чистый язык. В таких вещах как "Виринея", "Перегной", у нее диалог по ритму, по языку вполне сливается с повествованием. Так рассказывают деревенские умные Дарьи, Акулины — бойко, ладно, складно, чуть-чуть скороговоркой, словно читает писанное. Образность получается сама собой, от нее не веет литературщиной, они — от жизни.

Сумев взглянуть на деревню глазами деревенской же женщины, Сейфуллина открыла там сложную, богатую и разнообразную жизнь, полную движения, драматизма, событий, — она нашла там резко очерченные индивидуальности, характеры и типы с большим внутренним содержанием. Повести Сейфуллиной наглядно показывают не только всю барственную вздорность мнения Гончарова, вспомянутого Толстым, но обнаруживают и однобокость, крайнюю условность изображений деревни Чеховым, Буниным и, кстати сказать, и Горьким. Читая вещи Сейфуллиной, особенно "Виринею" и "Перегной", невольно думаешь: как бесконечно далеко шагнула и изменилась жизнь на наших глазах. Мы все еще помним тургеневских самоотверженных девушек с их влюблениями и трагедиями, — отважных, жертвенных семидесятниц, помним чеховских сестер с их тоской и томлением - и под ними огромное, необозримое, молчаливое море людское, казавшееся ровным, одиноким и сплошным. О сплошном быте писал Толстой, Чехов, над сплошным бытом терзался Глеб Иванович Успенский. О нем говорили наши лучшие умы, начиная с Белинского вплоть до Г. В. Плеханова. Но сплошной быт издавна уже терял крепость своих устоев и наконец рухнул. Тургеневские девушки давно уже "все они умерли, умерли", умерли или доживают свой век чеховские сестры, нет Перовских. Вместо них — трусливо-приманчивые Антонины, озлобленная, тупая обывательщина, канкан, кокаин, ту-стэп, истерички, хватающиеся где-то за рубежом за фалды Керенского. А там, где, казалось, был один сплошной быт, тишина и невозмутимый покой, серое однообразие, — все кипит, бурлит, тянется, развивается, открывая миру могучую, разнообразную, цветистую, исподнюю жизнь. Происходит величайшее событие на Руси: впервые с невиданным размахом, ширью и глубиной в недрах миллионных масс формируется личность, индивидуальность трудового человека, раскрепощенного от сплошного быта. В коллективной борьбе, в единении, в солидарности, в дисциплине растет одновременно личность, свое, отличное. Вот она — настоящая "многогранность", о которой столь много толковалось в интеллигентских кругах, подлинная жизнь труда со своими влюблениями, со своей тоской и недовольством собой, со своими эмоциями и драмами! А у нас, теперь, еще находятся людишки, тянущие комариную зуду об одиночестве, о скуке, о суете сует во дни, когда сплошному быту нанесен смертельный и непоправимый удар! От тургеневских девушек и чеховских сестер жизнь шагнула к Виринеям! Недурно для начала!

Повесть Сейфуллиной "Виринея" на наш взгляд является лучшей из всего написанного ею доселе, и одной из лучших вещей в литературе после Октября. Сейфуллина растет, "Виринея" — очевидное свидетельство этого роста. В "Виринее" художница нашла себя больше и лучше, чем в других вещах; можно сказать — вполне нашла себя. Некоторая торопливость конца, обычный грех Сейфуллиной, не меняет дела. Образ "Виринеи" — нов, самобытен, широк, подкупающ от полноты жизни, которую вобрал в себя, и современен. Виринея полна до краев властных могучих зовов инстинкта, она сильна ими, полнозвучна, но это не подавляет в ней ни воли, ни индивидуальности. Наоборот, богатство и сложность ее натуры питается наличием в ней огромной жизненной силы. Она умеет постоять за себя. Она упряма, своевольна и своенравна, имеет сводить тугие брови, прямо до грубости и одновременно женственна, ибо ей нужно любить, родить и работать. Она — хмельная, непутевая, но и рассудительна и расчетлива, где нужно. Она — мать, любовница, сестра, подруга, товарищ, работница. И главное — в ней нет и тени от прославленной, воспетой и перепетой деревенской пассивности, как нет и интеллигентской худосочности, игрушечности, изнеженности. Виринея крутенька с деревенскими Анисьями за их рабью, самочью жизнь, но знает цену и господам. Она сама по себе, непохожая, со своей собственной стезей-дорогой. Выросла где-то на меже деревни и города, побывала тут и там, обтерлась, нагляделась, научилась грамоте, узнала цену чистой, господской жизни и высоким словам. Ей трудно найти "свою линию", но она находит ее вместе с большевиком Павлом Суловым, возвратившимся с фронта в родное село. С ним она делит его новую беспокойную жизнь, заражается его чувствами и мыслями и умирает от белых, когда к ребенку "как волчица к волченку пробиралась".

Виринея — новый тип женщины на Руси. Она стала возможна только в нашу эпоху. Она свидетельствует о могучем росте личности трудового человека и, в частности, деревенской женщины, где сплошной быт был доселе особенно прочен. Женщина — цепко отстаивающая "свой ндрав", свою долю, и вместе с тем она — целиком русская женщина, словно впитала она в себя русский буй и хмель, своенравное сибирское непокорство и кержацкую крепость и твердость характера, деревенскую упористость и легкость в работе, непреложный закон земли — засеяться плодородно и родить, и мягкую женственность неярких цветов, линий и красок Севера. Целые поколения интеллигенции по Наташам Толстого, по тургеневским девушкам и т. д. составляли себе образ любимых и искали их в жизни. Их место для новых поколений занимают Виринеи. Вот о чем говорит прежде всего "Виринея" Сейфуллиной.

Виринея — вполне реалистический тип, и в то же время она соткана из самых заветных, потаенных настроений и дум художницы. Она — ключ к творчеству Сейфуллиной, так как в ней наиболее полно раскрываются различные стороны ее художественного дарования. Ведь в ее вещах живет

то же своевольное непокорство, любовь к крепкому суслу жизни, к ее хмелю, к

#_298

дурманности, — холодок ко всему "конючему", неискреннему, показному, к сухо и безжизненно-добродетельному, к головному и насильно напяленному на себя - и тяга "к творящей силе человеческого ума", к освобождению от гнета и рабства личности и жаркая жажда выпрямленной жизни. Ей близка и родна деревня, но она знает: "город погнал соки жизни в голову, заставил шириться ум человека и сделал его дерзким и творящим всегда". И она вместе с теми, кто перекраивает старую Русь согласно творящей силе ума. На этих чувствах "замешаны" повести и рассказы Сейфуллиной, и нет случайного в том, что она берет материал из года восемнадцатого: он наиболее удобен для нее.

На господскую "чистую" жизнь, на отечественную интеллигенцию Сейфуллина смотрит теми же глазами Виринеи. Виринея, разговорившись как-то с инженером, рассказала ему про свою жизнь у умных и образованных и демократичных людей:

"- В редакцию каку-то ходили. Книжки мне еще давали читать... Скучные книжки, про бедный народ... Маленько муторно с ими было, больно великатные... Только, гляжу, барин чаще ко мне на кухню, как барыня из дому... А барыня такая: по городскому - ничего, стеклышки эдак на шнурочке, кудеречки реденьки. Ну, а по-нашему: сохлая да конючая. И барин с ей ласков, а видно полюбней, повеселей чего хотел. Ну, и заметила. Не осерчала, виду не дала. А только раз пришла ко мне и говорит: "Виринея, давайте обсудим... Если, мол, тебе нужен - бери. Я, дескать сама уйду". Я говорю: он мне не нужен, а коли сумлеваетесь, рассчитайте... А она: "Нет, — говорит, — зачем расчет, давайте обсудим". И вот эдак раз двадцать все: обсудим. Ну, лучше бы она меня била, чем сосулить эдак. Плюнула я, да тишком рано утром от их ушла".

Эту "конючесть", рассусоливание, "обсудим", "шпыняние жалостными словами", показную, наружную "великатность", эту сухую добродетель без сердца, неискренность, отсутствие простоты и прямоты крепко не любит в "образованных господах" художница. Лев Николаевич Толстой однажды писал: "Почти все чувства людей нашего круга сводятся к трем очень ничтожным и несложным чувствам: к чувству гордости, половой похоти и тоски жизни". Но мелкие и ничтожные чувства прикрывались в этих кругах "жалостными словами" и "обсудим". Толстой был несравненный мастер по срыванию этих покровов. По этому же пути пошла и Сейфуллина. У нее немало этих "конючих". Конючи воспитательницы в "Правонарушителях": "Тетя Зина всех голубчиками зовет; по головке гладит. Липкая. Самой неохота, а гладит. И разговорами душу мотает"; конюча Антонина в "Перегное" со взглядом чистым и с совершенно мелким нутром; инженер в "Виринее" — самец, распускающий павлиньи перья;

барин Холодковский — с бельем и сервизами, с "гигиенической" любовью к 19-летней швее.

Русской интеллигенции, эс-эровской и эс-эрствовавшей в 17 году, Сейфуллина посвятила роман "Путники". Пока напечатана в "Сибирских огнях" только первая часть. Повидимому, роман обещает быть интересным, но он бледнее "Виринеи" и "Перегноя". У Сейфуллиной рассказы и повести

#_299

из интеллигентского быта вообще слабей крестьянских вещей: более книжный язык, суше фигуры, нет такой непосредственности; ее стихия родная — деревня. Главным действующим лицом в романе является идейный эс-эр Литовцев и его жена. Он тоже "конючий" в политике. Он не может примириться с Октябрем и с большевиками, для него Октябрь — злое наваждение, торжество разнузданной стихии. Он — чистоплюй, нагружен прекрасными, но отвлеченными принципами и органически не может переварить красногвардейщину, низовую октябрьскую повольщину. Про него верно говорит большевик Степан: "Тебе, любезнейший, твои прекрасные принципы застыт живую действительность! А мы ею, действительностью, живем. Не боимся воплей о шкурничестве, о предательстве сепаратного мира"... А ставший близко к большевикам Лебедев, но не совлекший с себя ветхого интеллигентского адама, прибавляет: "Слушай ты, народник-интеллигент, ты долго был телефонистом у народа. Передавал ему прекрасные мысли, святые мысли. Но неужели ты сейчас не знаешь, что провода порваны? Не с кем говорить по телефону! Надо итти, бежать прямо к ним... А живых их голосов ты не слышишь"... Первый период борьбы Литовцева с коммунистами кончается тем, что он вынужден скрыться из города. Приходят казаки. Литовцев восторженно и искренно верит, что они восстановят власть Учред. Собрания. В романе не плохо очерчена худосочная, трусоватая, беспринципная, шатающаяся "семя и овам" эс-эрствовавшая учительская среда, типичен учительский съезд, учитель Завирыкин.

У Сейфуллиной есть и другого склада и закала интеллигенты. В том же романе "Путники", в противовес Литовцеву, выведен его старый друг, большевик Степан Типунов, председатель уисполкома; в "Ноевом ковчеге" — другой уездный председатель Шереметев. Они живут действительностью, у них и в помине нет "конючести". Очень верны воспроизведены дни, когда Типуновым и Шереметевым пришлось вести борьбу не только с белыми и с интеллигентским чистоплюйством и с саботажем, но и с анархо-мужицкой стихией. Мало того: пришлось эту борьбу вести в своих же рядах против своих же, отважных и боевых товарищей, но потерявших равновесие в первом хмелю революции. Степаны у Сейфуллиной изображены в полном соответствии с годом 18-м: упорность, твердокаменность, сконцентрированная воля, отсутствие интеллигентской резиньции, дисциплина ума и чувства, деловитость, понимание динамики массовой борьбы, неспособность позировать, простота

в геройстве и смерти - все на месте, но все же они далеки от живой теплоты и свежести, с которыми созданы Виринея, Софрон, Артамон. В Степанах все знакомо, художественных прибавлений нет. Такие вещи, как "Александр Македонский" - совсем незначительны.

С любовью, с большой чуткостью написаны Сейфуллиной рассказы из жизни детей. Лучший из них - "Правонарушители". Детская душа близка и понятна ей. И основные мотивы ее творчества в этих рассказах сохранены вполне.

Художественное дарование Сейфуллиной несомненно идет от Толстого и к Толстому. Ее свежесть и оригинальность в том, что она пишет, как писала

#_300

бы новая послеоктябрьская женщина-крестьянка новой деревни; она не извне, а изнутри наблюдает деревню. Такого подхода у нас еще не было. Прекрасное знание деревенского уклада, бытовых мелочей, языка и людей придают ее вещам художественную вескость и правдивость. По-толстовски Сейфуллина любит жизнь, в частности — жизнь, пахнущую землей, сеном и соломой, по-толстовски она ненавидит "конюченье" и фиговые листочки. Но непротивленству, пассивности, христианству толстовскому она чужда: она - деревенская, низовая и октябрьская. Чуждо ей также толстовское неприятие города и городской культуры. Ее творчество активно и жизнерадостно. Сейфуллина очень не любит все кровавое, смертное, а так как "концы" и "развязки" в годы, о которых она повествует, почти всегда кровавы, то художница старается обычно поскорей пройти мимо, не задерживая внимание свое и читателя на кровавых подробностях, обрывает и ставит точку: ее повести и рассказы почти всегда куцоваты и обрублены.

Сейфуллину считают "попутчицей", но в ее художественном восприятии нашей эпохи больше коммунизма, чем иногда у тех, кто своей специальностью избрал травлю "попутчиков". Она — наш друг и товарищ в искусстве. Ее деревенские вещи просты, написаны чудесным языком, доступны очень широким кругам рабочих и, что особенно важно, широким массам крестьян и являются образцом того, какая художественная литература нужна деревне. Сейфуллину следует печатать не в тысячах, а в десятках и в сотнях тысяч экземпляров для изб-читален, для клубов, для библиотек.